

Алена Яворская

«Наша длинная Базарная улица», или Трое с Базарной

Одесские улицы воспеты поэтами и прозаиками. Дерибасовской, «королеве всех улиц мира сего», посвящены и стихи, и даже целая повесть. Не обошли литераторы вниманием и Итальянскую-Пушкинскую, и Екатерининскую. Но это улицы центральные, барственные (по крайней мере в начале своем).

А вот Базарная не то чтобы окраинная, но и совсем не в центре, и название не очень уж благозвучное – приземленное, житейское, можно сказать, мещанское. Но при этом сколько же на ней родилось писателей, прославивших Одессу, – ни одна другая улица таким изобилием похвастаться не может.

Начнем с первых номеров. По нечетной стороне дом, в котором родился Александр Козачинский. Почти напротив, в доме на четной стороне, родились Валентин Катаев и Евгений Петров. А потом, дальше, в таком же шахматном порядке дома, в одном из которых в детстве жил Яков Бельский, а во втором увидел свет Эдуард Багрицкий.

В фондах Одесского литературного музея хранится старая фотография, подаренная Валентином Петровичем Катаевым. На ее обороте Катаев написал: «Слева направо Багрицкий, Катаев, Яша Бельский. Какой год – не помню. Это может быть и 25, и 26, а может, даже 31 (хотя вряд ли)». В каком бы году ни была она сделана, встретились три друга не на Базарной, улице своего детства.

Как удивительно сплелись их судьбы, сколько совпадений! Они погодки – старший Эдуард родился в 1895 году, Валентин – в 1896, Яков, самый младший, в 1897.

Писали стихи Катаев и Багрицкий, рисовали очень неплохо и порой зарабатывали этим на жизнь Багрицкий и Бельский. Писали прозу Катаев и Бельский. Багрицкий и Бельский – псевдонимы Эдуарда Дзюбина и Якова Биленкина.

В 1920 году Багрицкий и Катаев сидели в ЧК на Маразлиевской, неподалеку от Базарной. А Бельский служил в ЧК. И именно он, самый младший, спас от расстрела Валентина Катаева и, скорее всего, он же помог и Багрицкому.

Где они впервые встретились, трое жителей Базарной улицы, как познакомились? Какими были?

О Багрицком-подростке писал в воспоминаниях Борис Скуратов в 1935: «За порогом его бедной квартиры <...> шумел большой южный город. Уходило вдаль море, был чудесный порт, качивались корабли всех стран, плыли дубки, полные арбузов, рыбацьи шаланды. ...Багрицкий любил этот сверкающий мир, любил исключительной любовью, которая с детских лет сделала его «веселым бродягой».

Но годом ранее со слов того же Скуратова (для анкеты Института мозга, куда был передан мозг Багрицкого) были записаны более откровенные воспоминания: «Багрицкий был самым заметным из всех сверстников, был очень компанейским товарищем, всегда принимал участие во всех шалостях и вылазках, например в драках, прогулках и т. д.».

И быт семьи описан не совсем бедняцкий: «Жили в Одессе, недалеко от Александровского парка. Ежедневно ходил гулять с бабушкой в этот парк. Был в детстве очень красивый мальчик, так что обращали на это внимание. Несмотря на то, что имел много игрушек, играть в них не любил, предпочитал сам вырезать себе из бумаги игрушки. По-видимому, товарищей в период раннего детства не было. Семья была средней зажиточности, с достатком, имелась домашняя работница. Семья придерживалась еврейских обрядов, но в значительной степени с внешней стороны имела тяготение быть «светской». Это относится главным образом к матери, которая стремилась всегда хорошо одеваться, «по моде».

Скуратов описывает и увлечение Багрицкого птицами, и его нелюбовь к точным наукам:

«...единственный ребенок, был в центре всей семьи. Был любимцем, все с ним возились и уделяли ему много внимания, за исключением отца, который уделял ему меньше времени. Но сам Э. Г. вспоминал впоследствии о том, что отец ему купил клетку с птичкой и этим привил ему любовь к птицам. <...>

До поступления в школу занимался дома, с учителем. Занимался старательно и прилежно, в этом отношении было наблюдение со стороны родных. Занимался также и древнееврейским, но плохо – по-видимому, это его совершенно не интересовало. Первое время по поступлении в частное реальное училище (ему было тогда 10 лет) учился очень хорошо, аккуратно и прилежно, имел все «пятерки». <...> Приблизительно с третьего класса поведение резко изменилось, начал относиться к учению небрежно, пропускать уроки («править казну»), получал переэкзаменовки, учился на одни двойки.

<...> уроков обычно не готовил. <...> Единственным исключением являлись словесность и история, по которым имел «пятерки». <...> В летнее время часто пропадал из дому на несколько дней, «отбился от рук» совершенно, стал «вконец испорченным мальчиком». Это сопровождалось крупными семейными сценами, отец кричал на него, сын отвечал ему тем же, мать была в отчаянии. Справиться с Эдуардом, несмотря на все усилия, не удавалось».

Возможно, именно в это же время познакомились Эдуард и Яков, может, были в одной компании. Скуратов вспоминал: «Компания, с которой водился, была небольшая, около пяти человек, состояла почти исключительно из еврейских мальчиков, но не той школы, в которой учился Багрицкий. Эта компания все свое время проводила вне дома, на море или пляже. Сильно хулиганили. Например, в парке любили смущать парочки тем, что громко нецензурно ругались или садились на шляпы, лежавшие подле на скамейке».

Именно в те годы появляется страстное увлечение птицами и рыбами: «Весной, вместо того чтобы идти в школу, шел в парк и там ловил птичек, раскидывая сети и приманивая птиц подражательными звуками. На это занятие часто ходил один. Одним из излюбленных дел было: вместе с рыбаками ловить рыбу и продавать ее на базаре», – вспоминал Скуратов.

О Багрицком в 1912 он написал: «Худой, высокий мальчик, со своеобразным лицом, как будто птичьим, сам весь похож был на какую-то птицу (хищную). Уже в то время знал наизусть очень много стихов, читал стихи Бальмонта. Очень сильное впечатление произвели на него «Жемчуга» и «Капитаны» Гумилева и «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского. Читал эти стихотворения и другим товарищам».

Сам Багрицкий о своем детстве писал достаточно жестко, а об улице и вовсе не вспоминал:

Я не запомнил – на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась – краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали –
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец –
Всё бормотало мне:
– Подлец! Подлец! –
И только ночью, только на подушке
Мой мир не отсекала борода;
И медленно, как медные полушки,

Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвиё...
– Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие моё?
Меня учили: крыша – это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытиё.
...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие моё?

Катаев и Багрицкий родились на одной стороне Базарной, но в разных ее концах. И познакомились два молодых поэта, если верить Катаеву, только в 1914, когда Петр Пильский пригласил молодых поэтов для устройства поэтического вечера: «...я прошу молодых поэтов собраться в литературном клубе сегодня, в 9 час. вечера».

И во время отбора Катаев «подошел к окну. На подоконнике сидел юноша в форменной куртке с отрезанными пуговицами.

– Вы гимназист? – спросил я его.

– Я реалист, – мрачно ответил он... и заносчиво шмыгнул носом, как бы показывая, что ему на все решительно наплевать с высокого дерева. <...>

Он говорил специальным плебейским, так называемым «жлобским» голосом. Это было небрежное смягчение шипящих, это было «е» вместо «о». Каждое слово произносилось с величайшим отвращением, как бы между двух плевков через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у биндюжников, матросов и тех великовозрастных бездельников, которыми кипел одесский порт. Это был высший шик в районе Дюковского сада, Молдаванки, Александровского парка.

<...> Молодые, безвестные, очень одинокие среди фланеров с папирсами «Сальве» в зубах, южных франтов в желтых ботин-

ках и панاماх, наполнявших жарким шарканьем подошв улицы центра, мы долго шлялись по городу, провожая друг друга, – и читали, читали стихи, которые казались нам в эту ночь замечательными».

Так написал Катаев в 1935 году. А спустя сорок лет, в 1975, он напишет в «Алмазном венце»:

«...я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу, романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавочки на Ремесленной улице. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных» Брема – его любимой книгой – на антресолях двухкомнатной квартирки (окнами на унылый, темный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки.

Его стихи казались мне недостижимо прекрасными, а сам он гением».

Валентин Петрович с детства мечтал стать писателем. И знал, что будет им. Может быть, и это решение он принял в доме на Базарной, и первые свои, детские, стихи сочинил именно здесь. «Одесса, хорошо знакомый мне город, в котором я родился и жил на Базарной улице».

Три фотографии времен жизни семьи Катаевых на Базарной. На одной, достаточно известной и часто воспроизводимой, – младенец, «китайчонок», как называли его за немного раскосые глаза. На второй малыш, еще в девичьем платьице, а в руках – книжка с картинками. На третьей, почти выцветшей, счастливая семья – улыбающиеся отец и мать, и хохочущий мальчик. Единственная фотография, где они втроем...

В «Волшебном роге Оберона» Катаев часто вспоминает об улице, на которой родился. Именно на ней он впервые услышал музыку города, а мама не поверила:

«– Не слышу никакой музыки. Все тихо.

– Нет, музыка, – упрямо повторил я.

– Ты ужасный фантазер, – сказала она и, взяв меня за ручку, повела по нашей Базарной улице обратно домой, но все равно по дороге, стуча новыми башмаками по плиткам лавы,

которой были замощены многие улицы нашего города, я слышал за своей спиной странную, ни на что не похожую музыку, то как бы отливавшую, то приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся».

Музыка города, дом, наполненный любовью и счастьем, первая книга, которую читает мать, волшебные ночи: «за окнами светилась невероятно яркая лунная ночь и вся Базарная улица за окном была зеленой, с очень черными тенями голых деревьев и телеграфных столбов. Длинная железная оцинкованная крыша фабрики напротив была посеребрена лунным светом».

И даже выход из дома на улицу подобен чуду, да и встретить на улице можно много чудесного:

«Для того чтобы выйти на нашу Базарную улицу, следовало пройти под каменными сводами, в конце которых как бы в подзорную трубу виднелась резная арка ворот, а за нею до рези в глазах яркая и по-воскресному пустынная улица – центр моего тогдашнего мира.

Мне было года три, и я шел рядом с папой, не держа его за руку и даже отваживаясь иногда опередить его, чувствуя себя при этом как-то особенно молодежато-самостоятельным, независимым и от этого еще более счастливым.

Опередив папу, я выбежал из ворот и в сияющей перспективе Базарной улицы заметил фигуру приближающегося человека. Еще никогда в жизни я не видел такого красивого господина – щеголя в летнем люфговом шлеме с двумя козырьками (один спереди, другой сзади), так называемый «здравствуй-прощай», что уже это одно само по себе привело меня в восхищение, так как я впервые в жизни увидел такой красивый оригинальный головной убор».

На Базарной неподалеку от дома, где жила семья, были аптека и магазин Карликов. И за лекарством заболевшему Вале кухарка бегала «в аптеку, в ту самую аптеку против магазина Карликов...». И гуляя, Елизавета Катаева с маленьким Валею проходили мимо аптеки.

«Я уставал идти по улице, держа маму за палец в лайковой перчатке, и просился на ручки, на что мама – помнится мне – всегда говорила одно и то же:

– Как не стыдно! Такой большой, хороший бутузик, а ходить до сих пор как следует не научился.

Она меня ласково называла «китайчком», а иногда Ли Хунчангом.

И я продолжал шаркать своими туфельками по гранитной мостовой, когда мы со всеми предосторожностями переходили на другую сторону против уже знакомой мне аптеки с двумя громадными стеклянными графинами, наполненными один лиловой, а другой зеленой жидкостью, ярко светящейся, как бы сквозь увеличительное стекло, в больших окнах, где виднелись черные полки с белыми фаянсовыми банками, помеченными зловещими надписями, которые я не умел прочитать».

А неподалеку был магазин, в котором мама покупала «приклад, необходимый для шитья своих платьев у модистки Фани Марковны, а для меня цветные карандаши, резинки, липки, а также переводные картинки и просто разноцветные картинки, целыми листами висевшие на бельевых защипках над ящиком прилавка с потертыми, почти матовыми стеклами, огражденными сверху от локтей покупателей медными прутьями. <...>

Я очень любил, когда мама брала меня с собой в магазин Карликов за покупками. Должен прибавить, что сам Карлик всегда был в котелке, отчасти напоминая этим старьевщика, так как все старьевщики нашего города носили котелки и назывались не старьевщиками, а «старовещиками».

Мальчик вырослел, но «по-прежнему за окнами была видна Базарная улица с телеграфными столбами, белыми баночками изоляторов и сетью телеграфных проводов. <...> Вечером, когда в комнатах уже горели сумрачные лампы, освещающие цветы на обоях, а за окнами шумел зимний, предвесенний дождь, всегда особенно печальный в городе, и по нашей Базарной улице текли пенные потоки, низвергаясь водопадами сквозь решетки городской канализационной сети, вделанные в гранитные обочины мостовой».

На Базарной родится его младший брат Женечка:

«Несколько раз ребенок, не раскрывая глаз с набухшими веками, издал ротиком довольно громкий крик:

– Кува, кува, кува!

И тогда мама, лежавшая на кровати, по-девичьи разметав по подушке свои смоляные волосы, с нежным усилием улыбнулась искусанными губами и проговорила почти совсем пропавшим голосом:

– Ах ты мой маленький кувасик.

С тех пор моего братика долгое время называли Кувасиком.

Когда же Акилина Саввишна положила спеленатого ребенка рядом с мамой, приложив его личико к ее надутой, влажной, с кораллово-коричневым соском и каплей молока на нем груди, мама с усилием протянула ко мне ослабевшую смуглую руку, погладила меня по голове с двумя макушками и, с трудом шевеля губами, сказала:

– Поцелуй своего братика».

Через полгода мать простудилась и умерла от воспаления легких. А «за окнами так непостижимо обычно простиралась и жила своей будничной жизнью наша улица со всем своим тархтеньем извозчиков, шагами пешеходов, криками старьевщиков, скрипом тачек».

И «похоронная процессия двинулась вниз по Базарной улице мимо аптеки, где в окнах зловеще светились графины с разноцветной жидкостью; где-то сбоку проплыл магазин Карликов, на пороге которого стояли, провожая мамин гроб испуганными глазами, мадам Карлик в накладной прическе и сам Карлик, держа в руке свой старый суконный котелок на белой шелковой, сильно порыжевшей подкладке».

К осиротевшим племянникам приезжает сестра матери, и вскоре Катаевы переехали: «С появлением у нас тети мы уже не могли поместиться в нашей дешевой, старомодно и скромно обставленной квартире на Базарной улице, рядом со Стурдзовской общиной, почти на углу Французского бульвара».

Семья Катаевых переезжает с Базарной после смерти матери. А семья Биленкина-Бельского, наоборот, переезжает на Базарную после смерти отца, в 1908 году. В рассказе «Американское наследство» он напишет:

«После смерти отца мы поселились в четырехэтажном кирпичном доме на Базарной улице. Из окон нашей кварти-

ры были видны серо-желтые стены соседнего дома. Только из одной комнаты открывался вид на длинный двор, вымощенный серыми квадратами лавы, которую итальянские пароходы компании «Ллойде-Триестино» брали с собой как балласт, когда шли за хлебом в Одессу. Тридцать одинаковых балконов, издали напоминающие клетки для птичек, уставленные всяким скарбом и вечно увешанные бельем, дополняли унылый пейзаж.

Мы были самыми бедными в этом бедном доме на Базарной улице. У нас не было отца».

Дома Бельского и Багрицкого неподалеку друг от друга.

Бельскому 11 лет, Багрицкому – 13. Была ли препятствием разница в два года? Входил ли Яша Биленкин в компанию друзей Эдди Багрицкого? Во всяком случае, на Ланжероне проводили время и один, и второй.

«Стоило только пробежать несколько кварталов, и через белую арку, на которой было написано французское слово «Ланжерон», мы видели море.

Ласковое или бурное, бирюзовое или черное, но всегда одинаково прекрасное. Вот почему одесситы полжизни проводят на улице, всегда веселы и никогда не унывают. И куда бы ни забросила их судьба, они всю жизнь вздыхают, вспоминая о море, и даже из далеких стран часто приезжают на родину умирать.

Но тогда, в чудесный майский день, о котором я хочу рассказать, мне было только десять лет, и я еще не знал цены этим богатствам. Море, и небо, и акации – все это было каждый день и рядом».

Дата знакомства Багрицкого и Катаева известна. А Бельский, скорее всего, познакомился с Катаевым уже во время Гражданской войны, на поэтических вечерах. Сам Катаев об этом нигде не писал, но его сын Павел писал об аресте (явно со слов отца):

«Итак, двадцатые годы, тюрьма, и отец, ждущий своей участи. Собственно говоря, спасти заключенного может только чудо. И чудо происходит.

На очередном допросе его узнает один из чекистов (фамилия известна), завсегдагатай поэтических вечеров, в которых в числе прочих одесских знаменитостей (их имена также хорошо известны)

всегда участвовал молодой и революционно настроенный поэт Валентин Катаев.

Это не враг, его можно не расстреливать.

И отец оказывается на свободе.

Чекист, спасший жизнь молодому одесскому поэту, – Яков Бельский».

В 1921 году Валентин Катаев уезжает в Харьков, а затем в Москву. В 1922 Бельский уходит из ЧК. Как вспоминал его друг Мацкин, Бельский говорил, что «не был создан для чекистской работы, его раздражали постоянные тайны, не по нутру была охота на людей, даже когда они этого заслуживали». Он стал журналистом, работал в Николаеве. И туда приезжает к другу Эдуард Багрицкий. «В начале июля 1923 года я получил письмо от Эдуарда. В письме он сообщал, что сидит в Одессе без дела, что от Вальки (Катаева) и Юрки (Олеши) из Харькова никаких вестей нет и что он хочет приехать в Николаев работать. <...>

Может быть, из-за Багрицкого я до сих пор горячо люблю Николаев, в котором прошли лучшие дни нашей дружбы, дни юности и весны.

Когда я думаю о Николаеве, я – еще юноша, и Эдуард Багрицкий жив».

Так написал Бельский после смерти друга. Впрочем, в уже упоминавшихся материалах Института мозга немного другая версия поездки. «Багрицкий ушел вместе с товарищем из дому и не возвратился на ночь. Впоследствии оказалось, что [он] сильно выпил в компании и в мертвецки пьяном виде был увезен одним товарищем, работавшим в николаевской газете (Бельским), из Одессы в Николаев, причем по приезде товарищ прислал жене Багрицкого телеграмму, что он находится в Николаеве и чтобы она не беспокоилась».

В 1925 году Катаев способствует переезду Багрицкого в Москву. А Бельский повторяет путь Катаева – в Харьков, и только затем – в Москву.

Забавный портрет Бельского харьковского периода в воспоминаниях Юрия Смолича: «Жив самотою, не одружений, мало не щомісяця міняв квартиру (в ті часи в Харкові це було можливо – наймати десь кімнату).



Слева направо: Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Яков Бельский

Причина була відома. Він вдягався завжди елегантно, але чомусь соромився віддавати носки в прання. Носки, коли вони бруднилися, кидав у кошик; коли кошик заповнювався вщерть, він міняв квартиру, виїздив, забравши всі речі, тільки кошик з брудними носками залишав на покинутій квартирі.

Так по всьому Харкову були розкидані кошики з брудними носками Бельського. Не знаю, чи так було й в Москві, куди він переїхав, запрошений «Крокодилом».

В Москві Бельський появився в 1930. Й друзя внонь зустрілись. Ненадолго.

В 1934 умер Эдуард Багрицкий.

В 1937 был арестован и расстрелян Яков Бельский.

Валентин Катаев прожил долгую жизнь. О Багрицком он написал и в киноповести «Поэт», и в «Алмазном венце». А о Бельском только рассказывал. Но именно эти рассказы и помогли восстановить биографию Якова Бельского.

Ведь на той самой фотографии трех друзей при печати в книгах сидящего справа Бельского часто отрезали – и не потому, что он был репрессирован, а потому, что никому не известный человек в компании двух писателей казался лишним.

Но никто не был лишним в компании трех друзей, трех писателей с улицы Базарной, улицы их детства и юности.

На Базарной, № 4, мемориальная доска Валентину Катаеву, № 40 – Эдуарду Багрицкому. А на номере 49, где жил Бельский, доски нет. Есть лишь на доме в Москве табличка «Последний адрес».

